

Письмо отцу. Франц Кафка

Дорогой отец,

Ты недавно спросил меня, почему я говорю, что боюсь Тебя. Как обычно, я ничего не смог Тебе ответить, отчасти именно из страха перед Тобой, отчасти потому, что для объяснения этого страха требуется слишком много подробностей, которые трудно было бы привести в разговоре. И если я сейчас пытаюсь ответить Тебе письменно, то ответ все равно будет очень неполным, потому что и теперь, когда я пишу, мне мешает страх перед Тобой и его последствия и потому что количество материала намного превосходит возможности моей памяти и моего рассудка.

Тебе дело всегда представлялось очень простым, по крайней мере, так Ты говорил об этом мне и – без разбора – многим другим. Тебе все представлялось примерно так: всю свою жизнь Ты тяжело трудился, все жертвовал детям, и, прежде всего мне, благодаря чему я «жил припеваючи», располагал полной свободой изучать что хотел, не имел никаких забот о пропитании, а значит, и вообще забот; Ты требовал за это не благодарности – Ты хорошо знаешь цену «благодарности детей», – но по крайней мере хоть знака понимания и сочувствия; вместо этого я с давних пор прятался от Тебя – в свою комнату, в книги, в сумасбродные идеи, у полоумных друзей; я никогда не говорил с Тобой откровенно, в храм к Тебе не ходил, в Франценсбаде никогда Тебя не навещал и вообще никогда не проявлял родственных чувств, не интересовался магазином и остальными Твоими делами, навязал Тебе фабрику и потом покинул Тебя, поддерживал Оттлу в ее упрямстве, для друзей я делаю все, а для Тебя я и пальцем не пошевельнул (даже ни разу не принес Тебе билета в театр). Если Ты подытожишь свои суждения обо мне, то окажется, что Ты упрекаешь меня не в непорядочности или зле (за исключением, может быть, моего последнего плана жениться[1]), а в холодности, отчужденности, неблагодарности. Причем упрекаешь Ты меня так, словно во всем этом виноват я, словно одним поворотом руля я мог бы все направить по другому пути, в то время как за Тобой нет ни малейшей вины, разве только та, что Ты был слишком добр ко мне.

Это Твое обычное суждение я считаю верным лишь постольку, поскольку тоже думаю, что Ты совершенно неповинен в нашем отчуждении. Но так же совершенно неповинен в нем и я. Сумею я убедить Тебя в этом, тогда возникла бы возможность – нет, не новой жизни, для этого мы оба слишком стары, – а хоть какого-то мира, и даже если Твои беспрестанные упреки не прекратились бы, они стали бы мягче.

Как ни странно, Ты в какой-то мере предчувствуешь, что я хочу тебе сказать. Так, например, Ты недавно сказал мне: «Я всегда любил тебя, хотя внешне не обращался с тобой так, как другие отцы, но это потому, что я не умею притворяться, как другие». Ну, в общем-то, отец, я никогда не сомневался в Твоем добром ко мне отношении, но эти Твои слова я считаю неверными. Ты не умеешь притворяться, это верно, но лишь на этом основании утверждать, что другие отцы притворяются, – значит или проявить не вменяющую никаким доводам нетерпимость, или – что, по моему мнению, соответствует действительности – косвенно признать, что между нами что-то не в порядке и повинен в этом не только я, но и Ты, хотя и невольно. Если Ты действительно так считаешь, тогда мы единодушны.

Я, разумеется, не говорю, что стал таким, какой я есть, только из-за Твоего воздействия. Это было бы сильным преувеличением (и у меня даже есть склонность к такому преувеличению). Вполне возможно, что, вырасти я совершенно свободным от Твоего влияния, я тем не менее не смог бы стать человеком, который был бы Тебе по нраву. Я, наверное, все равно был бы слабым, робким, нерешительным, беспокойным человеком, не похожим ни на Роберта Кафку, ни на Карла Германна,[2] но все же другим, не таким, какой я есть, и мы могли бы отлично ладить друг с другом. Я был бы счастлив, если бы Ты был моим другом, шефом, дядей, дедушкой, даже (но тут уже я несколько колеблюсь) тестем. Но именно как отец Ты был слишком сильным для меня, в особенности потому, что мои братья умерли маленькими, сестры родились намного позже меня, и потому мне пришлось выдержать первый натиск одному, а для этого я был слишком слаб.

Сравни нас обоих: я, говоря очень кратко, – Леви.[3] с определенной кафковской закваской, но движимый не кафковской волей к жизни, к деятельности, к завоеванию, а присущими всем Леви побуждениями, проявляющимися украдкой, робко, в другом направлении и часто вообще затухающими. Ты же, напротив, истинный Кафка по силе, здоровью, аппетиту, громкоголосию, красноречию, самодовольству, чувству превосходства над всеми, выносливости, присутствию духа, знанию людей, известной широте натуры – разумеется, со всеми свойственными этим достоинствам ошибками и слабостями, к которым Тебя приводит Твой темперамент и иной раз яростная вспышчивость. Может быть, Ты не совсем Кафка в своем общем миропонимании, насколько я могу сравнить тебя с дядей Филиппом, Людвигом, Генрихом[4] Это странно, и мне не вполне ясно, в чем тут дело. Ведь все они были более жизнерадостными, бодрыми, непринужденными, беззаботными, менее строгими, чем Ты. (Между прочим, тут я многое унаследовал от Тебя и слишком уж хорошо распорядился этим наследством, тем более что в моем характере не было тех необходимых противовесов, какими обладаешь Ты.) Но, с другой стороны, Ты в этом смысле тоже прошел через разные стадии, был, наверное, жизнерадостнее до того, как Твои дети, в особенности я, разочаровали Тебя и стали тяготить дома (когда приходили чужие. Ты становился другим), Ты и теперь, наверное, снова стал более жизнерадостным – ведь внуки и зять дали Тебе немного того тепла, которого не смогли дать дети, за исключением, может быть, Валли.[5] Во всяком случае, мы были столь разными и из-за этого различия столь опасными друг для друга, что если б можно было заранее рассчитать, как я, медленно развивающийся ребенок, и Ты, сложившийся человек, станем относиться друг к другу, то можно предположить, что Ты должен был просто раздавить меня, что от меня ничего бы не осталось. Ну, этого-то не случилось, жизнь нельзя рассчитать наперед, зато произошло, может быть, худшее. Но я снова и снова прошу Тебя не забывать, что я никогда ни в малейшей степени не считал Тебя в чем-либо виноватым. Ты воздействовал на меня так, как Ты и должен был воздействовать, только перестань видеть какую-то особую мою злонамеренность в том, что я поддался этому воздействию.

Я был робким ребенком, тем не менее я, конечно, был и упрямым, как всякий ребенок; конечно, мать меня баловала, но я не могу поверить, что был особенно неподатливым, не могу поверить, что приветливым словом, ласковым прикосновением, добрым взглядом нельзя было бы добиться от меня всего что угодно. По сути своей Ты добрый и мягкий человек (последующее этому не противоречит, я ведь говорю лишь о форме, в какой Ты воздействовал на ребенка), но не каждый ребенок способен терпеливо и безбоязненно доискиваться скрытой доброты. Ты воспитываешь ребенка только в соответствии со своим собственным характером – силой, криком, вспыльчивостью, а в данном случае все это представлялось Тебе еще и потому как нельзя более подходящим, что Ты стремился

воспитать во мне сильного и смелого юношу.

Твои методы воспитания в раннем детстве я сейчас, разумеется, не могу точно описать, но я могу их себе приблизительно представить, судя по дальнейшему и по Твоему обращению с Феликсом.[6] Причем тогда все было значительно острее, Ты был моложе и потому энергичнее, необузданнее, непосредственнее, беспечнее, чем теперь, и, кроме того, целиком занят своим магазином, я мог видеть Тебя едва ли раз в день, и потому впечатление Ты производил на меня тем более сильное, что оно никогда не могло измельчиться до привычного.

Непосредственно мне вспоминается лишь одно происшествие детских лет. Может быть, Ты тоже помнишь его. Как-то ночью я все время скулил, прося пить, наверняка не потому, что хотел пить, а, вероятно, отчасти чтобы позлить вас, а отчасти чтобы развлечься. После того как сильные угрозы не помогли, Ты вынул меня из постели, вынес на балкон и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью. Я не хочу сказать, что это было неправильно, возможно, другим путем тогда, среди ночи, нельзя было добиться покоя, – я только хочу этим охарактеризовать Твои методы воспитания и их действие на меня. Тогда я, конечно, сразу затих, но мне был причинен глубокий вред. По своему складу я так и не смог установить взаимосвязи между совершенно понятной для меня, пусть и бессмысленной, просьбой дать попить и неопишущим ужасом, испытанным при выдворении из комнаты. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, как огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, почти без всякой причины – ночью может подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон, – вот, значит, каким ничтожеством я был для него.

Тогда это было только маловажное начало, но часто овладевающее мною сознание собственного ничтожества (сознание, в другом отношении, благородное и плодотворное) в значительной мере является результатом Твоего влияния. Мне бы немножко ободрения, немножко дружелюбия, немножко возможности идти своим путем, а Ты загородил мне его, разумеется с самыми добрыми намерениями, полагая, что я должен пойти другим путем. Но для этого я не годился. Ты, например, подбадривал меня, когда я хорошо салютовал и маршировал, но я не годился в солдаты; или же Ты подбадривал меня, когда я был в состоянии плотно поесть, а то и пива выпить, или когда подпевал за другими непонятные мне песни, или бессмысленно повторял Твои излюбленные выражения, – но все это не относилось к моему будущему. И характерно, что даже и теперь Ты, в сущности, подбадриваешь меня лишь в том случае, когда дело затрагивает и Тебя, касается Твоего самолюбия, задевает мною (например, моим намерением жениться) или из-за меня (например, когда Пеп[7] меня ругает). Тогда Ты подбадриваешь меня или напоминаешь о моих достоинствах, указываешь на хорошие партии, на которые я вправе рассчитывать, и безоговорочно осуждаешь Пепу. Не говоря о том, что в мои годы я почти уже глух к подбадриваниям, какой толк от них, если они раздаются, только когда речь идет не обо мне в первую очередь.

А ведь тогда, именно тогда мне во всем необходимо было подбадривание. Меня подавляла сама Твоя телесность. Я вспоминаю, например, как мы иногда раздевались в одной кабине. Я – худой, слабый, узкогрудый, Ты – сильный, большой, широкоплечий. Уже в кабине я казался себе жалким, причем не только в сравнении с Тобой, но в сравнении со всем миром, ибо Ты был для меня мерой всех вещей. Когда же мы выходили из кабины к людям, я, держась за Твою руку, маленький скелет, неуверенный, стоял босиком на досках, боясь воды, неспособный перенять Твои приемы плавания, которые Ты с добрым намерением, но в действительности к моему глубокому посрамлению все время показывал мне, – тогда я впадал в полное отчаяние и весь мой горький опыт великолепно подтверждался этими минутами. Более сносно я чувствовал себя, когда Ты иной раз раздевался первым и мне удавалось остаться одному в кабине и до тех пор оттянуть позор публичного появления, пока Ты не возвращался наконец взглянуть, в чем дело, и не выгонял меня из кабины. Я был благодарен Тебе за то, что Ты, казалось, не замечал моих мучений, к тому же я был горд, что у моего отца такое тело. Кстати, различие между нами и сейчас примерно такое же.

Этому соответствовало и Твое духовное превосходство. Ты сам, собственными силами достиг так много, что испытывал безграничное доверие к собственным суждениям. В детстве меня это даже не так поражало, как впоследствии, в юности. Сидя в своем кресле, Ты управлял миром. Твои суждения были верными, суждения всякого другого – безумными, сумасбродными, meschugge,[8] ненормальными. При этом Твоя самоуверенность была столь велика, что для Тебя не обязательно было быть последовательным, – Ты все равно не переставал считать себя правым. Случалось, что Ты не имел мнения по какому-нибудь вопросу, но это значило, что все возможные мнения касательно этого вопроса – все без исключения – неверны. Ты мог, например, ругать чехов, немцев, евреев, причем не только за что-то одно, а за все, и в конце концов никого больше не оставалось, кроме Тебя. Ты приобретал в моих глазах ту загадочность, какой обладают все тираны, чье право основано на их личности, а не на разуме. По крайней мере мне так казалось.

Однако Ты и в самом деле поразительно часто бывал прав по отношению ко мне, в разговоре это было само собою разумеющимся, ибо разговоров между нами почти не происходило, – но и в действительности. Однако и в этом не было ничего особенно непостижимого: ведь все мои мысли находились под Твоим тяжелым гнетом, в том числе и мысли, не совпадающие с Твоими, и в первую очередь именно они. Над всеми этими твоими независимыми от Тебя мыслями с самого начала тяготело Твое неодобрение; выдержать его до полного и последовательного осуществления замысла было почти невозможно. Я говорю здесь не о каких-то высоких мыслях, а о любой маленькой детской затее. Стоило только увлечься каким-нибудь делом, загореться им, прийти домой и сказать о нем – и ответом были иронический вздох, покачивание головой, постукивание пальцами по столу: «А получше ты ничего не мог придумать?», «Мне бы твои заботы», «Не до того мне», «Ломаного гроша не стоит», «Тоже мне событие!». Конечно, нельзя было требовать от Тебя восторга по поводу каждой детской выдумки, когда Ты жил в хлопотах и заботах. Но не в том дело. Дело, скорее, в том, что из-за противоположности наших характеров и исходя из своих принципов Ты постоянно должен был доставлять такие разочарования ребенку, и эта противоположность постоянно углублялась, так что в конце концов она по привычке давала себя знать даже тогда, когда наши мнения совпадали; в конечном счете эти разочарования ребенка не оставались обычными разочарованиями, а, поскольку все было связано с Твоей всеопределяющей личностью, они задевали самую основу его души. Я не мог сохранить смелость, решительность, уверенность, радость по тому или иному поводу, если Ты был против или если можно было просто предположить Твое неодобрение; а предположить его можно было по отношению, пожалуй, почти ко всему, что бы я ни делал.

Это касалось как мыслей, так и людей. Достаточно было мне проявить хоть сколько-нибудь интереса к человеку – а из-за моего характера это случалось не очень часто, – как Ты, нисколько не щадя моих чувств и не уважая моих суждений, тотчас вмешивался и начинал поносить, чернить, унижать этого человека. Невинные, по – детски чистые люди, как, например, еврейский актер Леви, должны были расплачиваться. Не зная его, Ты сравнил его с каким-то отвратительным паразитом, не помню уже с каким; а как часто Ты без

всякого стеснения пуская в ход поговорку о собаках и блохах[9] по адресу дорогих мне людей. Об актере я вспомнил здесь потому, что по поводу Твоих высказываний о нем я тогда записал: «Так говорит отец о моем друге (которого он совсем не знает) только потому, что он мой друг. Это я всегда смогу припомнить ему, когда он будет попрекать меня недостатком сыновней любви и благодарности». Мне всегда была непонятна Твоя полнейшая бесчувственность к тому, какую боль и стыд Ты был способен вызвать у меня своими словами и суждениями, казалось, Ты не имел представления о своей власти надо мной. Конечно, мои слова тоже нередко Тебя оскорбляли, но в таких случаях я всегда сознавал это, страдал, однако не мог совладать с собой, сдержаться и, едва выговорив слово, уже сожалел о сказанном. Ты же беспощадно бил своими словами, Ты никого не жалел ни тогда, ни потом, я был перед Тобой беззащитен.

И таким было все Твое воспитание. Мне кажется, у Тебя есть талант воспитателя; человеку Твоего склада Твое воспитание наверняка пошло бы на пользу; он понимал бы разумность того, что Ты говорил бы ему, ни о чем больше не беспокоился бы и поступал бы в соответствии с этим. Для меня же в детстве все, что Ты выкрикивал мне, было прямо-таки небесной заповедью, я никогда не забывал этого, это оставалось для меня важнейшим мериллом оценки мира, прежде всего оценки Тебя самого, и вот тут Ты оказывался совершенно несостоятельным. Так как в детстве я встречался с Тобой главным образом во время еды, Твои уроки были большей частью уроками хороших манер за столом. Все, что ставится на стол, должно быть съедено, о качестве еды говорить не полагается, – однако Ты сам часто находил ее несъедобной, называл «жратвой», говорил, что «скотина» (кухарка) испоганила ее. Поскольку аппетит у Тебя был прекрасный и Ты любил все есть быстро, горячим, большими кусками, то и ребенок должен был торопиться, за столом царил угрюмая тишина, прерываемая наставлениями: «Сначала съешь, потом говори», «Быстрой, быстрой, быстрой», «Видишь, я давно уже съел». Кости грызть нельзя, а Тебе – можно. Чавкать нельзя, Тебе – можно. Главное, чтобы хлеб отрезали, а не отламывали; а То, что Ты отрезал его измазанным в соусе ножом, было не важно. Надо следить, чтобы на пол не падали крошки, – под Тобой же их оказывалось больше всего. За столом следует заниматься только едой – Ты же чистил и обрезал ногти, точил карандаши, ковырял зубочисткой и ушах. Отец, пойми меня, пожалуйста, правильно, само по себе все это совершенно незначительные мелочи, угнетающими для меня они стали лишь потому, что Ты, человек для меня необычайно авторитетный, сам не Придерживался заповедей, исполнения которых требовал от меня. Тем самым мир делился для меня на три части: один мир, где я, раб, жил, подчиняясь законам, которые придуманы только для меня и которые я, неведомо почему, никогда не сумею полностью соблюсти; в другом мире, бесконечно от меня далеком, жил Ты, повелевая, приказывая, негодую по поводу того, что Твои приказы не выполняются; и, наконец, третий мир, где жили остальные люди, счастливые и свободные от приказов и повиновения. Я все время испытывал стыд: мне было стыдно и тогда, когда я выполнял Твои приказы, ибо они касались только меня; мне было стыдно и тогда, когда я упрямился – ибо как смел я упрячиться по отношению к Тебе! – или был не в состоянии выполнить их, потому что не обладал, например, ни Твоей силой, ни Твоим аппетитом, ни Твоей ловкостью, а Ты требовал всего этого от меня как чего-то само собой разумеющегося. Это, конечно, вызывало у меня наибольший стыд. Так складывались не мысли, но чувства ребенка.

Мое тогдашнее положение станет, может быть, понятнее, если я сравню его с положением Феликса. Ты и к нему относишься так же, более того, Ты даже применяешь к нему особенно ужасное средство воспитания: если во время еды он, по Твоему мнению, делает что-то неопрятно, Ты не довольствуешься тем, что говоришь, как мне: «Ну и свинья же ты», а еще добавляешь: «Сразу видно, что из Германнов». Или: «Точь-в-точь как твой отец». Ну, возможно – более точного слова, чем «возможно», тут не подберешь, – это и в самом деле не причинит Феликсу большого вреда, ибо хоть как дедушка Ты для него и много значишь, однако не все на свете, как для меня; кроме того, у Феликса спокойный, в известной мере уже мужской характер: громовым голосом его, вероятно, можно смутить, но не подчинить на длительное время; к тому же он бывает с Тобой сравнительно редко, да и находится он под другими влияниями. Ты для него, скорее, соединение неких милых и забавных черт, из которых можно выбирать те, что хочется. Для меня Ты не был забавным, я не мог выбирать из Твоих особенностей, я должен был принимать все.

Притом я не имел возможности высказаться, так как Ты никогда не умеешь спокойно говорить о чем-нибудь, с чем Ты не согласен или что исходит не от Тебя, – Твой властный темперамент не терпит этого. В последние годы Ты объясняешь это неврозом сердца; я не знаю, был ли Ты когда-нибудь иным, невроз сердца у Тебя лишь средство для более полного осуществления своего господства, так как мысль о нем должна подавить у окружающих последние возражения. Это, разумеется, не упрек, а только констатация факта. Возьмем, к примеру, Оттлу. «С ней же невозможно разговаривать, она сразу сбивает тебя с толку», – говоришь Ты обычно, но в действительности она вовсе не хочет сбить Тебя с толку; Ты путаешь дело и человека: дело сбивает Тебя с толку, и Ты немедленно решаешь его, не выслушав человека; все, что удается потом сказать, еще больше раздражает, но никогда не переубеждает Тебя. Затем от Тебя можно лишь услышать: «Поступай как знаешь. По мне, ты вольна делать что хочешь. Ты совершеннолетняя. Разве я могу тебе советовать?» И все это с неприятной, хриплой нотой гнева и полнейшего осуждения, от которой я теперь только потому дрожу меньше, чем в детстве, что безграничное чувство детской вины частично заменилось пониманием нашей обоюдной беспомощности.

Невозможность спокойного общения имела еще и другое, в сущности, совершенно естественное последствие: я разучился разговаривать. Я бы, конечно, и без того не стал великим оратором, однако обычным беглым человеческим разговором я все же овладел бы. Но ты очень рано запретил мне слово. Твоя угроза: «Не возражать!» – и поднятая при этом рука сопровождают меня с незапамятных времен. Когда речь идет о Твоих собственных делах, Ты отличный оратор, а меня ты наделил запинаящейся, заикающейся манерой разговаривать, но и это было для Тебя слишком, в конце концов я замолчал, сперва, возможно, из упрямства, а затем потому, что при Тебе я не мог ни думать, ни говорить. И так как Ты был моим главным воспитателем, это сказывалось в дальнейшем во всей моей жизни. Вообще же Ты странным образом заблуждаешься, если думаешь, что я никогда не подчинялся Тебе. «Вечно все контра» – вовсе не было моим жизненным принципом по отношению к Тебе, как Ты думаешь и в чем упрекаешь меня. Напротив, если бы я меньше слушался Тебя, Ты наверняка больше был бы мною доволен. Но все Твои воспитательные меры точно достигли цели, мне ни на миг не удалось уклониться от Твоей хватки. И я – такой, какой я есть (отвлекаясь, конечно, от основ и влияния жизни), – я результат Твоего воспитания и моей покорности. То, что результат этот тем не менее Тебя оскорбляет, что произвольно Ты даже отказываешься признать его результатом Твоего воспитания, объясняется именно тем, что Твоя рука и мои данные так чужды друг другу. Ты говорил: «Не возражать!» – и хотел этим заставить замолчать во мне неприятные Тебе силы сопротивления, но Твое воздействие было для меня слишком сильным, я был слишком послушным, я полностью умолкал, прятался от Тебя и отваживался пошевелиться лишь тогда, когда оказывался так далеко от Тебя, что Твое могущество не могло меня достичь, во всяком случае непосредственно. Но вот Ты снова стоял передо мною, и Тебе все опять казалось «контра», в то время как то было лишь естественным следствием Твоей силы и моей слабости.

Твоими самыми действенными, во всяком случае для меня, неотразимыми ораторскими средствами воспитания были: брань, угрозы,

ирония, злой смех и – как ни странно – самооплакивание.

Я не помню, чтобы Ты ругал меня прямо и явно ругательными словами. Да в этом не было и надобности, у Тебя было столько других средств, к тому же в разговорах дома и особенно в магазине ругательства в моем присутствии сыпались и на других в таком количестве, что подростком я бывал иногда почти оглушен ими, у меня не было никаких оснований не относить их к себе, так как люди, которых Ты ругал, были, конечно, не хуже меня и Ты, конечно, бывал ими не более недоволен, чем мною. И здесь тоже опять выступала на свет Твоя загадочная невинность и непогрешимость, Ты ругался без всякого стеснения, других же Ты порицал за ругань и запрещал ее.

Ругань Ты подкреплял угрозами, и они относились уже непосредственно ко мне. Мне было страшно, например, когда Ты кричал: «Я разорву тебя на части», хотя я и знал, что ничего ужасного после слов не последует (ребенком я, правда, этого не знал), но моим представлениям о Твоем могуществе почти соответствовала вера в то, что Ты в силах сделать и это. Страшно было и тогда, когда Ты с криком бегал вокруг стола, чтобы схватить кого-нибудь, – было ясно, что Ты не собирался никого хватать, но притворялся, что хочешь, и мать в конце концов для вида спасала кого-нибудь. И ребенку казалось, что благодаря Твоей милости ему сохранена жизнь, и он считал ее незаслуженным подарком от Тебя. Такого же свойства были и предрекания последствий непослушания. Когда я начинал делать что-то, что Тебе не нравилось, и Ты грозил мне неудачей, благоговение перед Твоим мнением было столь велико, что неудача, пусть даже впоследствии, была неизбежной. Я терял уверенность в собственных действиях. Мною овладевали колебания, сомнения. Чем старше я становился, тем больше накапливалось материала, который Ты мог предъявить мне как доказательство моей ничтожности; постепенно Ты в известном смысле действительно оказывался правым, Я опять-таки остерегаюсь утверждать, что стал таким только из-за Тебя; Ты лишь усилил то, что было во мне заложено, но усилил в большой степени, потому что власть Твоя надо мною была очень велика и всю свою власть Ты пускал в ход.

Особенно Ты полагался на воспитание иронией, она и соответствовала больше всего Твоему превосходству надо мною. Наставление носило у Тебя обычно такую форму: «Иначе ты, конечно, не можешь это сделать? Тебе это, конечно, не под силу? На это у тебя, конечно, нет времени?» – и тому подобное. Причем каждый такой вопрос сопровождался злой усмешкой на злом лице. В известной мере я чувствовал себя наказанным еще до того, как узнавал, что сделал что-то нехорошее. Задевали и выговоры, обращенные ко мне как к третьему лицу, когда я не удостоивался даже злого обращения; например, по виду Ты говорил матери, но по сути – мне, сидящему тут же: «От господина сына этого, конечно, не дождешься», и тому подобное. (Это потом привело к своего рода контригре, заключавшейся в том, что я, например, не осмеливался, а потом уже по привычке и не пытался даже обращаться непосредственно к Тебе с каким-либо вопросом в присутствии матери. Гораздо безопаснее для ребенка было спросить о Тебе сидящую возле Тебя мать; так, оберегая себя от неожиданностей, я спрашивал мать: «Как себя чувствует отец?») Конечно, случалось, что я полностью разделял злейшую иронию, а именно когда она касалась кого-нибудь другого, например Элли, с которой я годами был в ссоре. Я торжествовал от злобы и злорадства, когда почти каждый раз за столом Ты говорил о ней: «Она обязательно должна сидеть за десять метров от стола, эта толстая девка» – и пытался вслед за этим зло, без малейшего следа дружелюбия или добродушия, а как ожесточенный враг, подчеркнuto передразнить ее, показывая, как отвратительно, на Твой взгляд, она сидит. Как часто Тебе приходилось повторять такие и похожие сцены, и как мало Ты достигал ими. Я думаю, причина в том, что гнев и злость уж очень не соответствовали поводу, их вызвавшему, не верилось, что такой гнев мог быть вызван таким пустяком, как неправильное сидение за столом, казалось, весь этот гнев уже раньше накопился в Тебе и что лишь случайно именно этот повод вызвал вспышку. Поскольку все были уверены, что повод так или иначе найдется, то незачем особенно следить за собой, а постоянные угрозы притупляли восприимчивость; в том, что бить не будут, мы почти уже не сомневались. Вот так я становился угрюмым, невнимательным, непослушным ребенком, все время готовым к бегству, чаще всего внутреннему. Страдал Ты, страдали мы. По – своему Ты был совершенно прав, когда со стиснутыми зубами и прерывистым смехом, впервые вызвавшим у ребенка представление об аде, Ты горько говорил (как недавно в связи с одним письмом из Константинополя): «Хороша компания!»

Когда Ты начинал во всеулышание жалеть самого себя – что случалось так часто, – это приходило в полное противоречие с Твоим отношением к собственным детям. Признаюсь, что ребенком Твои жалобы оставляли меня совершенно безучастным, и я не понимал (лишь став старше, начал понимать), как можешь Ты вообще рассчитывать на сочувствие. Ты был таким гигантом во всех отношениях; зачем Тебе наше сочувствие, тем более помощь? Ее Ты должен был, в сущности, презирать, как часто презирал нас. Потому я не верил жалобам и гадал, какое тайное намерение скрывается за ними. Лишь позднее я понял, что Ты действительно очень страдал из-за детей, но в ту пору, когда самооплакивание при других обстоятельствах могло бы еще вызвать детское, открытое, доверчивое чувство, готовность прийти на помощь, оно неизбежно казалось мне лишь новым и откровенным средством воспитания и унижения, – само по себе оно не было очень сильным, но его побочное действие состояло в том, что ребенок привыкал не слишком серьезно относиться как раз к тому, к чему должен был относиться серьезно.

К счастью, случались и исключения, большей частью тогда, когда Ты страдал молча, и любовь и доброта силой своей преодолевали во мне все препятствия и захватывали все существо. Редко это случалось, правда, но зато это было чудесно. В прежнее время, например, когда я заставлял Тебя жарким летом после обеда в магазине усталым, вздремнувшим у конторки; или когда Ты во время тяжелой болезни матери, сотрясаясь от рыданий, держался за книжный шкаф; или когда Ты во время моей последней болезни зашел ко мне в комнату Оттлы, остановился на пороге, вытянул шею, чтобы увидеть меня в кровати, и, не желая меня тревожить, только помахал мне рукой. В таких случаях я ложился и плакал от счастья, плачу и теперь, когда пишу об этом.

У Тебя особенно красивая, редкая улыбка – тихая, спокойная, доброжелательная, она может совершенно осчастливить того, к кому она относится. Я не помню, чтобы когда-нибудь в детстве она явственно была обращена ко мне, но, наверное, так бывало, ибо зачем бы Ты тогда стал отказывать мне в ней, я ведь казался Тебе еще невинным и был Твоей великой надеждой. Впрочем, такие приятные впечатления с течением времени тоже только усилили мое чувство вины и сделали мир еще более непонятным для меня.

Лучше уж держаться действительного и постоянного. Чтобы хоть сколько-нибудь самоутвердиться по отношению к Тебе, отчасти и из своего рода мести, я скоро начал следить за смешными мелочами в Тебе, собирать, преувеличивать их. Например, как легко Тебя ослеплял блеск имен большей частью лишь мнимо высокопоставленных особ, Ты мог все время рассказывать о них, скажем о каком-то кайзеровском советнике или о ком-то в этом роде (с другой стороны, мне причиняло боль, что Тебе, моему отцу, кажется, будто Тебе нужны подобного рода ничтожные подтверждения Твоей значительности, и Ты хвастаешься ими). Или я замечал Твое пристрастие к непристойностям, которые Ты произносил очень громко и по поводу которых смеялся так, словно сказал что-то удивительно меткое, на

самом же деле то была просто плоская, мелкая непристойность (правда, вместе с тем это было опять-таки посрамляющее меня проявление Твоей жизненной силы). Разумеется, различных наблюдений такого рода было множество; я радовался им, они давали мне повод для шушуканья и шуток, иногда Ты замечал это, сердился, считал это злостью, непочтительностью, но, поверь мне, это было для меня не чем иным, как средством самосохранения, впрочем непригодным, то были шутки, какие позволяют себе по отношению к богам и королям, – шутки не только совместимые с глубочайшей почтительностью, но даже составляющие часть ее.

Между прочим, Ты тоже, находясь по отношению ко мне в сходном положении, прибегал к своего рода самообороне. Ты имел обыкновение напоминать, как чрезмерно хорошо мне жилось и как хорошо ко мне, в сущности, относились. Это верно, но я не думаю, что при сложившихся условиях это существенно помогало мне.

Верно, мать была безгранично добра ко мне, но все это для меня находилось в связи с Тобой, следовательно – в недоброй связи. Мать невольно играла роль загонщика на охоте. Если упрямство, неприязнь и даже ненависть, вызванные во мне Твоим воспитанием, каким-то невероятным образом и могли бы помочь мне стать на собственные ноги, то мать сглаживала все добротой, разумными речами (в сумятице детства она представлялась мне воплощением разума), своим заступничеством, и снова я оказывался загнанным в Твой круг, из которого иначе, возможно, и вырвался бы, к Твоей и своей пользе. Бывало, что дело не заканчивалось настоящим примирением, мать просто втайне от Тебя защищала меня, втайне что-то давала, что-то разрешала, – тогда я снова оказывался перед Тобой преступником, сознающим свою вину, обманщиком, который по своему ничтожеству лишь окольными путями может добиться даже того, на что имеет право. Естественно, потом я привык добиваться таким путем уже и того, на что я, даже по собственному мнению, права не имел. А это тоже усиливало чувство вины.

Правда и то, что Ты вряд ли хоть раз по – настоящему побил меня. Но то, как Ты кричал, как наливалось кровью Твое лицо, как торопливо Ты отстегивал подтяжки и вешал их на спинку стула, – все это было для меня даже хуже. Вероятно, такое чувство у приговоренного к повешению. Если его действительно повесят, он умрет, и все кончится. А если ему придется пережить все приготовления к казни и, только когда перед его лицом уже повиснет петля, он узнает, что помилован, он может страдать всю жизнь. Кроме того, из множества случаев, когда я, по Твоему мнению, явно заслуживал порки, но по Твоей милости был пощажён, снова рождалось чувство большой вины. Со всех сторон я оказывался кругом виноват перед Тобой.

С давних пор Ты упрекал меня (и с глазу на глаз, и при посторонних, – унижительность последнего обстоятельства Ты никогда не принимал во внимание, дела Твоих детей всегда обсуждались при всех), что благодаря Твоему труду я жил, не испытывая никаких лишений, в покое, тепле, изобилии. Я вспоминаю Твои замечания, которые оставили в моем мозгу настоящие борозды: «А я семи лет от роду ходил с тележкой по деревням», «Мы все спали в одной комнате», «Мы были счастливы, когда имели картошку», «Из-за нехватки зимней одежды у меня годами были на ногах открытые раны», «Я был мальчиком, когда меня отдали в Пизек в лавку», «Из дома я ничего не получал, даже во время военной службы, я сам посылал деньги домой», «И все-таки, и все-таки – отец для меня всегда был отцом. Кто теперь так относится к отцам? Что знают дети? Они же ничего не испытали! Разве теперешний ребенок это поймет?» При других условиях такие рассказы могли бы стать отличным средством воспитания, могли бы придать бодрости и сил, чтобы выдержать такие же беды и лишения, какие перенес отец. Но Ты вовсе не хотел этого, благодаря Твоим усилиям положение семьи изменилось, возможности отличиться таким же образом, как Ты, отпали. Такую возможность можно было бы создать лишь насильственно, переворотом, нужно было бы вырваться из дома (при условии, что нашлось бы достаточно решимости и силы для этого и мать со своей стороны не противодействовала бы своими средствами). Но этого Ты вовсе не хотел. Ты назвал бы это неблагодарностью, сумасбродством, непослушанием, предательством, сумасшествием. В то время как, с одной стороны, Ты, приводя примеры, рассказывая, стыдя, побуждал к этому, Ты, с другой стороны, строжайше это запрещал. Иначе ведь Тебя должна была бы восхитить затея Оттлы в Цюрау.[10] если отвлечься от сопутствующих обстоятельств. Она стремилась в деревню, из которой Ты родом, она хотела работы и лишений – того же, что перенес Ты, она не хотела пользоваться плодами Твоих трудов, хотела быть, как и Ты, независимой от своего отца. Разве это такие уж страшные намерения? Такие далекие от Твоих примеров и поучений? Пусть намерения Оттлы в конечном счете не увенчались успехом, она пыталась осуществить их, может быть, немножко нелепо, слишком шумно, она не в достаточной мере считалась со своими родителями. Но разве в том была только ее вина? Не повинны ли были и обстоятельства, прежде всего то, что Ты был так отчужден от нее? Разве в магазине она была Тебе менее чуждой (как Ты потом сам хотел себя уговорить), чем позднее в Цюрау? И разве не в Твоей власти было (при условии, если б Ты мог побороть себя) подбодрить ее, дать совет, присмотреть за ней, а может, даже просто проявить терпение, чтобы эта затея обернулась благом?

После таких уроков Ты обычно горько шутил, что нам слишком хорошо живется. Но эта шутка в известном смысле не шутка. То, за что Ты должен был бороться, мы получили из Твоих рук, но борьбу за жизнь во внешнем мире, которая Тебе давалась легко и которой, разумеется, не миновали и мы, – эту борьбу мы должны были вести позднее, в зрелом возрасте, но детскими силами. Я не утверждаю, что из-за этого мы оказались в более тяжком, чем Ты, положении – мы были, вероятно, в равном положении (при этом я, конечно, не сравниваю исходные позиции), – мы в невыгодном положении лишь в том смысле, что не можем хвастаться своими бедами и никого не можем унижить ими, как это делал Ты. Я не отрицаю, что я действительно мог бы по – настоящему воспользоваться плодами Твоих больших и успешных трудов, употребить их во благо и приумножить, к Твоей радости, но этому помешало наше отчуждение. Я мог пользоваться тем, что Ты давал, но лишь испытывая чувство стыда, усталость, слабость, чувство вины. Потому я могу благодарить Тебя за все только как нищий, но не делом.

Другой внешний результат такого воспитания – я стал избегать всего, что хотя бы отдаленно напоминало о Тебе. Прежде всего магазина. Сам по себе, в особенности в детстве, до тех пор пока это был просто магазин в переулке, он должен был бы меня очень радовать: ведь он был таким бойким местом, светился по вечерам огнями, там можно было многое увидеть и услышать, в чем-то помочь, отличиться, но главное – восхищаться Тобой, Твоим великолепным коммерческим талантом, тем, как Ты торговал, обращался с людьми, шутил, был неутомим, тотчас же находил решение в сложных случаях, и так далее; и еще: то, как Ты упаковывал покупки или открывал ящик, было достопримечательным зрелищем и все вместе в целом – совсем неплохой школой для ребенка. Но так как Ты постепенно все больше и больше начинал пугать меня, а магазин и Ты для меня сливались воедино, мне и в магазине становилось не по себе. То, что поначалу казалось мне там нормальным, мучило, смущало меня, в особенности Твое обращение со служащими. Не знаю, может быть, в большинстве мест оно было таким же (в Assiciirazfoni Generali, например, оно в мое время действительно было схожим, свой уход оттуда я объяснил директору – не совсем согласно с истиной, но и не совсем лживо – тем, что не могу выносить ругань, которая, впрочем,

непредостереженно ко мне и не относился; я был в таких делах болезненно чувствительным еще с детства), но другие места в годы детства меня не заботили. В нашем же магазине я слышал и видел, что Ты кричишь, ругаешься и неистовствуешь, как, по тогдашним моим представлениям, никто больше в мире не поступает. И дело не только в ругани, но и в тиранстве. Когда Ты, например, одним движением сбрасывало прилавка товары, которые не следовало мешать с другими, – только безрассудство Твоего гнева немножко извиняло Тебя, – а приказчик должен был их поднимать. Или Твое постоянное выражение по адресу одного приказчика с больными легкими: «Пусть он сдохнет, этот хворый пес». Ты называл служащих «оплаченными врагами», они и были ими, но еще до того, как они ими стали, Ты уже казался мне их «платящим врагом». Там я получил и великий урок того, что Ты можешь быть неправым; если бы дело касалось одного меня, я бы не так скоро это заметил, ибо во мне слишком сильно было чувство собственной вины, которое оправдывало Тебя; но там, по моему детскому разумению – позднее, правда, несколько, но не слишком сильно подправленному, – были чужие люди, которые ведь работали на нас и за это почему-то должны были жить в постоянном страхе перед Тобой. Конечно, я преувеличивал, ибо был уверен, что Ты внушаешь им такой же ужас, как и мне. Если бы было так, они действительно не могли бы жить, но, поскольку они были взрослыми людьми с превосходными, как правило, нервами, ругань легко от них отскакивала и в конечном счете причиняла гораздо больший вред Тебе, чем им. Для меня же все это делало магазин невыносимым, так как слишком сильно напоминало мое отношение к Тебе: не говоря уж о Твоей предприимчивости и властолюбии, Ты как коммерсант настолько превосходил всех, кто когда-либо учился у Тебя, что никакие результаты их работы не могли Тебя удовлетворить, примерно так же и я должен был вызывать Твое недовольство. Поэтому я, естественно, принимал сторону твоих служащих, к стати, еще и потому, что по своей робости не понимал, как можно так ругать чужого человека, и по робости же пытался как-то примирить страшно возмущенных, как мне казалось, служащих с Тобой, с нашей семьей, хотя бы ради собственной безопасности. Для этого мне было уже недостаточно вести себя просто вежливо, скромно, – следовало быть смиренным, приветствовать не только первым, но и по возможности не допускать, чтобы приветствовали меня; даже если бы внизу я, лицо незначительное, стал лизать им ноги, это не искупило бы того, что наверху на них набрасывался Ты, хозяин. Отношения, в которые я здесь вступал с окружающими, оказывали свое воздействие за пределами магазина и в будущем (нечто подобное, но не столь опасное и глубокое, как у меня, заключено, например, в пристрастии Оттлы к общению с бедными, в раздражающих Тебя добрых отношениях с прислужгой). В конце концов я начал почти бояться магазина, и, во всяком случае, он давно уже перестал быть моим делом, еще до того, как я поступил в гимназию и тем самым еще больше отдалился от него. К тому же заниматься им представлялось мне совершенно непосильным, раз уж он, как Ты говорил, истощил даже Твои силы. В моем отвращении к магазину, к Твоему детищу – отвращении, причиняющем Тебе такую боль, – Ты все же пытался (теперь это трогает меня и вызывает чувство стыда) найти немножко улады для себя, утверждая, что я лишен коммерческих способностей, что у меня в голове более высокие идеи и тому подобное. Мать, конечно, радовалась этому объяснению, которое Ты против воли выдавливал из себя, и я в своем тщеславии и безысходности тоже поддавался ему. Но если бы действительно или преимущественно «высокие идеи» отвлекали меня от магазина (который я теперь, только теперь, и в самом деле честно ненавижу), они должны были бы найти свое выражение в чем-то ином, а не в том, чтобы позволить мне спокойно и смиренно проплыть через гимназию и изучение права и прибиться в конце концов к чиновничьему письменному столу.

Бежать от Тебя – значило бы бежать и от семьи, даже от матери. Правда, у нее всегда можно было найти защиту, но и на защите этой лежал Твой отпечаток. Слишком сильно она любила Тебя, слишком была предана Тебе, чтобы более или менее долго играть самостоятельную роль в борьбе ребенка. К стати, это детское инстинктивное ощущение оказалось верным, ибо с течением лет мать все теснее сближалась с Тобой; деликатно и мягко, никогда не нанося Тебе серьезной обиды, она в том, что касалось ее самой, тщательно оберегала свою независимость, но вместе с тем с годами она все более полно, скорее чувством, нежели разумом, слепо перенимала Твои суждения касательно детей и их осуждения, в особенности в трудном, правда, случае с Оттлой. Конечно, всегда надо помнить, каким мучительным и крайне изнуряющим было положение матери в семье. Ее изматывали магазин, домашнее хозяйство, все хвори в семье она переносила вдвойне тяжело, но венцом всего были страдания, причиняемые ей тем промежуточным положением, которое она занимала между нами и Тобой. Ты всегда относился к ней любовно и внимательно, но в этом отношении Ты щадил ее столь же мало, как и мы. Беспощадно накидывались мы на нее, Ты – со своей стороны, мы – со своей. Это было как бы отвлечением, никто ни о чем плохом не помышлял, думали только о борьбе, которую Ты вел с нами, которую мы вели с Тобой, а отыгрывались мы на матери. То, как Ты из-за нас мучил ее – разумеется, неосознанно, – вовсе не было достойным вкладом в воспитание детей. Это даже как бы оправдывало наше к ней отношение, другого оправдания не имевшее. Чего только не приходилось ей терпеть от нас из-за Тебя и от Тебя из-за нас, не говоря уже о тех случаях, когда ты был прав, потому что она баловала нас, хотя даже и это «баловство», быть может, иной раз являлось лишь тихим, невольным протестом против Твоей системы. Конечно, мать не могла бы вынести всего этого, если бы не черпала силы в любви ко всем нам и в счастье, даруемом этой любовью.

Сестры лишь отчасти стояли на моей стороне. Больше всего посчастливилось в отношениях с Тобой Валли. Она была ближе всех к матери и, подобно ей, приспособлялась к Тебе без особого труда и урона. И сам Ты тоже, именно памятуя о матери, относился к ней дружелюбнее, хотя кафковской закваски в ней было мало. Но может быть, как раз это и устраивало Тебя; где не было ничего кафковского, там даже Ты не мог этого требовать; у Тебя не было чувства, будто здесь, в отличие от нас, теряется нечто такое, что следует непременно спасать. Впрочем, Ты, кажется, никогда особенно не любил кафковское в женщинах. Отношение Валли к Тебе, возможно, стало бы даже еще более дружелюбным, если бы мы, остальные, не препятствовали немножко этому.

Элли – единственный пример почти удавшейся попытки вырваться из – под Твоего влияния. В детстве я меньше всего мог ожидать этого. Ведь она была таким неуклюжим, вялым, боязливым, угрюмым, пришибленным сознанием своей вины, безропотным, злым ленивым, охочим до лакомств, жадным ребенком. Я не мог видеть ее, не то что говорить с ней, настолько она напоминала мне меня самого, настолько сильно она находилась под воздействием того же воспитания. Особенно отвратительна для меня была ее жадность, потому что сам я был, кажется, еще более жадным. Жадность один из вернейших признаков того, что человек глубоко несчастен; я настолько был не уверен во всех окружающих меня предметах, что в действительности владел только тем, что держал в руках или во рту или что собирался отправить туда, и именно это она всего охотнее отбирала у меня, – она, находившаяся в подобном же положении. Но все изменилось, когда она совсем юной – и это главное – покинула дом, вышла замуж, родила детей, – она стала жизнерадостной, беззаботной, смелой, щедрой, бескорыстной, полной надежд. Почти невероятно, как Ты мог совершенно не заметить этого изменения и, во всяком случае, не оценить его по достоинству, – в такой степени Ты был ослеплен злобой, которую издавна питал к Элли и которая, по сути, осталась неизменной, с той лишь разницей, что злоба в значительной мере потеряла актуальность, так как Элли не живет больше у нас, и, кроме того. Твоя любовь к Феликсу и симпатии к Карлу отодвинули эту злобу на задний план. Лишь Гертти[11] должна еще иногда расплачиваться за нее.

Об Оттле я едва решаю писать, я знаю – этим самым я ставлю на карту все действие письма, на которое надеялся. При обычных обстоятельствах, то есть когда она не находилась, скажем, в беде или опасности, Ты испытывал к ней только ненависть; Ты ведь сам признавался мне, что, по Твоему мнению, она намеренно причиняет Тебе постоянно страдания и неприятности, и, когда Ты из-за нее страдаешь, она довольна и весела. В общем, своего рода дьявол. Какое же чудовищное отчуждение, еще большее, нежели между Тобой и мной, должно было возникнуть между Тобой и ею, чтобы стало возможным такое чудовищное заблуждение. Она так далека от Тебя, что Ты видишь уже не ее, а призрак, который ставишь на то место, где предполагаешь ее присутствие. Я признаю, что она доставляла Тебе особенно много забот. Я не вполне понимаю, в чем тут дело, – случай трудный, но тут, безусловно, разновидность Леви, оснащенная лучшим кафковским оружием. Между мной и Тобой не было настоящей борьбы; Ты быстро справился со мной, и мне оставались лишь бегство, горечь, грусть, внутренняя борьба. Вы же оба всегда находились в боевой позиции, всегда свежие, полные сил. Столь же внушительная, сколь и безотрадная картина. Прежде всего вы, конечно, были очень близки друг другу – ведь и сегодня из всех нас четверых Оттла, пожалуй, самое полное воплощение союза между Тобой и матерью и сочетавшихся в нем сил. Я не знаю, что лишило вас счастья единения, какое должно существовать между отцом и ребенком, я могу только думать, что дело развивалось здесь подобно тому, как у меня. С Твоей стороны – деспотия, свойственная Твоей натуре, с ее стороны – присущие Леви упрямство, впечатлительность, чувство справедливости, возбудимость, и все это опирается на сознание кафковской силы. Возможно, и я оказывал на нее влияние, но вряд ли сознательно, скорее самым фактом своего существования. Впрочем, она последней вошла в круг уже сложившихся взаимоотношений и могла вынести им свой приговор на основании множества уже существовавших данных. Я даже могу себе представить, что по натуре своей она некоторое время колебалась, решая, броситься ли ей в объятия к Тебе или к противникам; очевидно. Ты тогда упустил что-то и оттолкнул ее, но, будь то возможно, вы стали бы великолепной парой единомышленников. Я, правда, лишился бы союзника, но ваше единение щедро вознаградило бы меня, к тому же, найди Ты хоть в одном своем ребенке полное удовлетворение, Ты в беспредельном счастье своем очень изменился бы и мне на пользу. Сегодня все это, конечно, лишь мечта. У Оттлы нет никакой близости с отцом, она, как и я, вынуждена искать свою дорогу в одиночестве, а из-за того избытка надежд, уверенности в своих силах, решительности, здоровья, которым она обладает по сравнению со мной, она кажется Тебе более злой, более способной на предательство. Я это понимаю; с Твоей точки зрения, она и не может быть другой. Да она и сама в состоянии смотреть на себя Твоими глазами, сочувствовать Твоим страданиям и при этом не отчаиваться (отчаяние – мой удел), а очень грустить. Это, казалось бы, не вяжется со всем остальным, но Ты часто видишь нас вместе, мы шепчемся, смеемся, порой Ты слышишь свое имя. У Тебя создается впечатление, будто перед Тобой дерзкие заговорщики. Странные заговорщики! Ты, конечно, с давних пор – главная тема наших разговоров, как и наших размышлений, но встречаемся мы вовсе не для того, чтобы плести заговор против Тебя, а для того, чтобы по – всякому – шутя, всерьез, с любовью, упрямо, гневно, с неприязнью, покорностью, сознанием вины, напрягая все силы ума и сердца, во всех подробностях, со всех сторон, по всякому поводу, с далекого и близкого расстояния – обсуждать ту страшную тяжбу, которая ведется между нами и Тобой, тяжбу, в которой Ты упорно продолжаешь считать себя судьей, тогда как Ты, по крайней мере в большинстве случаев (здесь я оставляю открытым вопрос о всех ошибках, которые я, конечно, могу совершить), столь же слабая и ослепленная сторона, как и мы.

Почувствительный пример Твоего воспитательного воздействия – Ирма.[12] С одной стороны, она все же чужая, поступила в Твой магазин уже взрослой, имела дело с Тобой главным образом как с хозяином, то есть подверглась Твоему влиянию лишь частично и уже в том возрасте, когда сила сопротивления достаточно велика; с другой стороны, она, все же близкая родственница, почитала в Тебе брата своего отца, и Ты обладал над нею властью большей, нежели власть хозяина. И тем не менее она – при всей своей физической слабости – такая дельная, умная, прилежная, скромная, достойная доверия, бескорыстная, преданная, любящая Тебя как дядю и восхищающаяся Тобой как хозяином, хорошо справлявшаяся и прежде и потом с другой работой – оказалась для Тебя недостаточно хорошей служащей. Она относилась к Тебе – разумеется, не без нашей помощи – примерно так же, как Твои дети, и столь велика была над нею сокрушающая власть Твоей натуры, что в ней начали развиваться (правда, только по отношению к Тебе и, надо надеяться, не причиняя ей глубоких страданий) забывчивость, нерадивость, юмор висельника, может быть, даже некоторое упрямство, насколько она вообще была способна к этому; она была болезненна и, вообще-то, не очень счастлива, а безотрадная домашняя обстановка тяжело угнетала ее. Свое порожденное разными взаимосвязями отношение к ней Ты выразил в одной фразе, ставшей для нас классической, почти богохульной, но очень показательной для того, сколь невинен Ты был в своем отношении к людям: «Хорошенькое свинство оставила мне в наследство наша святоша».

Я мог бы коснуться еще многих сфер Твоего влияния и борьбы против него, но здесь я чувствую себя уже менее уверенным и мне пришлось бы что-то додумывать; кроме того, чем больше Ты отдаляешься от магазина и семьи, тем дружелюбнее, мягче, предупредительней, внимательней, участливей (я имею в виду также и внешне) Ты становишься, так же как, например, самодержец, находящийся за пределами своей страны, не имеет возможности тиранствовать и потому напускает на себя добродушие в обращении даже с самыми ничтожными людьми. На групповых снимках во Франценсбаде Ты, например, и впрямь всегда стоишь среди маленьких угрюмых людей такой большой, приветливый, точно путешествующий король. Конечно, дети тоже могли бы извлечь из этого пользу, если бы только сумели – что было невозможно – еще в детстве понять это и если бы я, к примеру, не вынужден был постоянно жить в теснейшем, жестком, сдавливающем кольце Твоего влияния, что и было в действительности.

Я не только утратил из-за этого чувство семьи, как Ты говоришь, скорее, у меня возникло чувство к семье – правда, главным образом отрицательное, стремление (которое обречено на постоянство) внутренне отделиться от Тебя. Мои отношения с людьми за пределами семейного круга пострадали от Твоего влияния еще сильнее, если это только возможно. Ты совершенно заблуждаешься, считая, что для других людей я из любви и преданности делаю все, а для Тебя и семьи из-за равнодушия и измены не делаю ничего. В десятый раз повторяю: я бы, наверное, все равно стал нелюдимым и робким, но отсюда еще долгий, туманный путь туда, где я оказался в действительности. (До сих пор я в письме намеренно умалчивал сравнительно о немногом, теперь же и далее мне придется умалчивать кое о чем, чего – признаюсь перед Тобой и собой – мне еще слишком тяжело касаться. Я говорю это для того, чтобы Ты, если общая картина местами станет неотчетливой, не подумал, будто виной тому недостаток доказательств, – напротив, у меня есть такие доказательства, которые могли бы сделать картину невыносимо резкой. Очень нелегко держаться здесь середины.) Впрочем, достаточно напомнить о прошлом: я потерял веру в себя, зато приобрел безграничное чувство вины. (Памятуют об этой безграничности, я однажды правильно о ком-то написал: «Он боится, что позор переживет его»).[13] Я не мог внезапно меняться, когда встречался с другими людьми, скорее, я испытывал перед ними еще более глубокое чувство вины, ибо я ведь должен был, как уже говорил, исправлять то зло, которое Ты причинял им в своем магазине при моем соучастии. Кроме того, каждого, с кем я общался, Ты открыто или втайне в чем-нибудь упрекал, – также и за это мне нужно было добиваться прощения. Недоверие к большинству людей, которое Ты

пытался внушить мне в магазине и дома (назови мне хоть одного человека, имевшего какое-то значение для меня в детстве, кого Ты не уничтожал бы своей критикой) и которое странным образом не особенно тяготило Тебя (у Тебя было достаточно сил, чтобы выносить такое недоверие, кроме того, оно было, возможно, всего лишь символом властителя), – это недоверие, которое в моих детских глазах ни в чем не получало подтверждения, так как вокруг я видел лишь недосыгаемо прекрасных людей, превращалось для меня в недоверие к самому себе и постоянный страх перед всеми остальными. Тут уж я наверняка не мог спастись от Тебя. Твои заблуждения в этом вопросе основаны, возможно, на том, что, в сущности, Ты ведь ничего и не знал о моих связях с людьми и недоверчиво и ревниво (разве я отрицаю, что Ты любил меня?) считал, что я где-то восполняю то, чего лишен дома, ибо невозможно ведь и вне дома жить точно так же. Впрочем, как раз в детстве именно недоверие к собственному мнению давало мне известное утешение. Я говорил себе: «Ты, конечно, преувеличиваешь, раздуваешь мелочи, как всегда бывает в юности, принимая их за великие исключения». Но позже, с расширением кругозора, я почти утратил это утешение.

Не нашел я спасения от Тебя и в иудаизме. Здесь, собственно говоря, спасение было бы возможно, даже более того – в иудаизме мы оба могли бы найти себя или нашли бы в нем друг друга. Но что за иудаизм Ты внедрял в меня! С течением лет у меня трижды менялось к нему отношение.

Ребенком я, в согласии с Тобой, упрекал себя за то, что недостаточно часто ходил в храм, не постился и т. д. Я считал, что тем самым поступаю плохо по отношению не к себе, а к Тебе, и меня охватывало чувство вины, благо оно всегда подстерегало меня.

Позже, молодым человеком, я не понимал, как можешь Ты, отдавая иудаизму такую малость, упрекать меня за то, что я (пусть бы из одного только пиетета, как Ты выражался) не пытаюсь отдавать ему хотя бы такую же малость. Насколько я мог видеть, это действительно была лишь малость, развлечение, да и не развлечение даже. Ты посещал храм четыре раза в году, был там, безусловно, ближе к равнодушным, чем к тем, кто принимал это всерьез, терпеливо разделялся, как с формальностью, с молитвами, приводил меня порой в изумление, показывая в молитвеннике место, которое в тот момент читалось, все остальное время Ты позволял мне, если уж я пришел в храм (это было главное), шататься где угодно. Долгие часы я зевал и дремал там (так скучно мне позже бывало, кажется, только на уроках танцев), силился по возможности развлечься тем небольшим разнообразием, которое там можно было углядеть, к примеру когда открывали Ковчег, что всегда напоминало мне тир, где тоже открывалась дверца шкафчика, когда попадали в яблочко, но только там всегда появлялось что-нибудь интересное, а здесь все время лишь старые куклы без головы.[14] Впрочем, я пережил там и немало страха не только из-за множества людей, с которыми приходилось соприкасаться – это само собой, – но и потому, что однажды Ты мимоходом упомянул, будто и меня могут вызвать читать Тору. Годами я дрожал от страха при мысли об этом. В остальном же мою скуку почти ничто не нарушало, разве только бармицве, но молитва требовала лишь нелепого заучивания наизусть, то есть сводилась лишь к нелепому экзамену; и кроме того – это уже связано с Тобой, – маленькие незначительные происшествия, например, когда Тебя вызывали читать Тору и Ты хорошо справлялся с этим исключительно мирским – в моем восприятии – делом, или когда Ты во время поминовения усопших оставался в храме, а меня отсылал оттуда, что на протяжении долгих лет вызывало у меня едва осознанное чувство – вызванное, возможно, отсылкой и недостатком сколь-нибудь глубокого интереса, – будто там происходит что-то непристойное. Так было в храме, дома же все это было, пожалуй, еще более убого и сводилось к первому пасхальному вечеру, который под влиянием подрастающих детей все больше превращался в комедию, сопровождаемую судорожным смехом. (Почему Ты поддавался этому влиянию? Потому что Ты его вызывал.) Вот какая почва должна была питать веру; к этому добавлялась разве что простертая рука, указующая на «сыновей миллионера Фукса», которые в дни больших праздников бывали со своим отцом в храме. Я не знал, что еще можно сделать с этим грузом, кроме как пытаться побыстрее избавиться от него; именно это избавление и казалось мне наиболее благочестивым актом.

Однако спустя еще некоторое время я увидел это снова другими глазами и понял, почему Ты вправе был думать, что я и в этом отношении злонамеренно предал Тебя. От маленькой, подобной гетто, деревенской общины у Тебя действительно остался слабый налет иудаизма, его тонкий слой в городе, а затем на военной службе еще более истончился, но все-таки впечатлений и воспоминаний юности еще кое – как хватало для сохранения некоего подобия еврейской жизни, в особенности если учесть, что Ты не очень-то нуждался в такого рода подспорье, поскольку был очень крепкого корня и религиозные соображения, если они не слишком сталкивались с соображениями общественными, вряд ли могли повлиять на Тебя. Сущность определяющей Твою жизнь веры состояла в том, что Ты верил в безусловную правильность взглядов евреев, принадлежащих к определенному классу общества, и, так как взгляды эти были сродни Тебе, Ты, таким образом, верил, собственно говоря, самому себе. В этом тоже было еще достаточно иудаизма, но для дальнейшей передачи ребенку его было мало, в процессе передачи он по капле вытекал и полностью иссякал, ибо отчасти это были непередаваемые юношеские впечатления, отчасти – Твоя всеяющая страх натура. Да и невозможно было втолковать ребенку, из чистого страха необычайно остро за всем наблюдающему, что те пустяки, которые Ты с соответствующим их пустячности равнодушием выполняешь во имя иудаизма, могут иметь более высокий смысл. Для Тебя они имели смысл как маленькие напоминания о прежних временах, и Ты хотел передать их мне, но, поскольку и для Тебя они не имели самостоятельного значения, Ты мог делать это лишь уговорами или угрозами; с одной стороны, таким путем нельзя было добиться успеха, с другой – моя кажущаяся черствость вызывала в Тебе ярость, поскольку Ты ведь не считал собственную позицию слабой.

Все это в целом отнюдь не единичное явление, примерно так же обстояло дело у большей части того переходного поколения евреев, которое переселилось из относительно еще набожных деревень в города; так получалось само собой, но только нашим отношениям, и без того достаточно острым, это придало еще одну весьма болезненную грань. Конечно, и в этом пункте Ты, как и я, можешь верить в свою невинность, но объяснить эту невинность Ты должен сущностью своей натуры и условиями времени, а не просто внешними обстоятельствами, то есть не говорить, к примеру, что у Тебя было слишком много других дел и забот, чтобы иметь возможность заниматься еще и такими вещами. Так То; обычно оборачиваешь свою несомненную невинность в несправедливый упрек другим. Это очень легко опровергнуть вообще, а также и в данном случае. Ведь никто не говорит о каких-то, скажем, уроках, которые Тебе следовало давать своим детям, речь идет о достойной подражания жизни; будь Твой иудаизм, Твоя вера сильнее, Твой пример был бы более обязывающим – само собой разумеется, это опять-таки вовсе не упрек, а только защита от Твоих упреков. Ты недавно читал юношеские воспоминания Франклина.[15] Я и в самом деле нарочно дал их Тебе прочитать, но не ради краткого рассуждения о вегетарианстве, как Ты иронически заметил, а ради того, как описаны в книге отношения между автором и его отцом, и ради того, что в этих написанных для сына воспоминаниях невольно проступают и отношения между автором и его сыном. Я не хочу здесь останавливаться на деталях.



То, что моя оценка Твоего иудаизма верна, мне, так сказать задним числом, подтвердил Твое поведение в последние годы, когда тебе показалось, что я стал больше интересоваться жизнью евреев. Поскольку Ты всегда уже заранее отрицательно настроен против любых моих занятий, и особенно против того, что вызывает у меня интерес, то же самое было и здесь. Хотя можно было бы ожидать, что здесь Ты допустишь маленькое исключение. Ведь речь шла об иудаизме, порожденном Твоим иудаизмом, а значит, возникала возможность установления новых отношений между нами. Я не отрицаю, что, прояви Ты интерес к этим моим занятиям, они именно потому могли бы показаться мне подозрительными. Я не собираюсь утверждать, что в этом отношении я хоть сколько-нибудь лучше Тебя. Но до испытания дело и не дошло. Из-за меня иудаизм стал Тебе отвратителен, еврейские сочинения – нечитабельны, Тебя «тошнило от них». Это могло означать, что Ты настаиваешь на том, что только тот иудаизм, который Ты раскрыл мне в детстве, и есть единственно правильный, иного не бывает. Но вряд ли возможно, чтобы Ты настаивал на этом. В таком случае «тошнота» могла означать лишь (помимо того, что в первую очередь она относилась не к иудаизму, а к моей персоне), что Ты невольно признавал слабость своего иудаизма и моего еврейского воспитания, не хотел никаких напоминаний об этом и отвечал на все напоминания открытой ненавистью. Впрочем, в своем отрицательном отношении Ты очень преувеличивал мое увлечение иудаизмом: во – первых, он ведь носил в себе Твое проклятие, во – вторых, решающим фактором для его развития было отношение к ближним, то есть в моем случае этот фактор был убийственным.

Более прав Ты был в своей антипатии к моему сочинительству и ко всему, что – неведомо Тебе – было связано с ним. Здесь я действительно в чем-то стал самостоятельным и отдалился от Тебя, хотя это немного и напоминает червя, который, если наступить ногой на заднюю часть, оторвется и уползет в сторону. Я обрел некоторую безопасность, получил передышку; антипатия, которая, естественно, сразу же возникла у Тебя к моему сочинительству, на сей раз в виде исключения была мне приятна. Правда, мое тщеславие, мое честолюбие страдали от Твоих, ставших для нас знаменитыми слов, которыми Ты приветствовал каждую мою книгу: «Положи ее на ночной столик!» (чаще всего, когда приносили книгу, Ты играл в карты), но в основном мне все-таки было хорошо при этом не только потому, что во мне поднималась протестующая злость, радость по поводу того, что мое восприятие наших отношений получило новое подтверждение, но и совершенно независимо, ибо слова те звучали для меня примерно так: «Теперь ты свободен!» Разумеется, это был самообман, я не был свободен или – в лучшем случае – еще не был свободен. В моих писаниях речь шла о Тебе, я изливал в них свои жалобы, которые не мог излить на Твоей груди. Это было намеренно оттягиваемое прощание с Тобой, которое хотя и было предопределено Тобой, но происходило так, как мне того хотелось. Но как ничтожно все это было! Вообще это заслуживает упоминания лишь потому, что происходило в моей жизни, иначе это попросту осталось бы незамеченным, и еще потому, что оно владело моей жизнью, в детстве – как предчувствие, позже – как надежда, еще позже – зачастую как отчаяние, и оно же – если угодно, опять-таки в Твоем образе – продиктовало мои немногие жалкие решения.

Например, выбор профессии. Конечно, Ты великодушно и в данном случае даже терпеливо предоставил мне здесь полную свободу. Правда, Ты тут следовал общепринятому среди еврейского среднего сословия – авторитетному также и для Тебя – принципу обращения с сыновьями или по крайней мере взглядам этого сословия. В конце концов, здесь сказались также и одно из Твоих заблуждений относительно меня. Отцовская гордость, незнание моей истинной жизни, выводы, основанные на моей болезненности, внушили Тебе издавна, что я отличаюсь особенным прилежанием. Ребенком я, по Твоему мнению, все время учился и позже – все время писал. Это абсолютно неверно. Гораздо меньшим преувеличением было бы сказать, что я мало учился и ничему не научился; не так уж странно, что после многих лет при средней памяти и не наихудших способностях в голове что-то осталось – как бы то ни было, количество знаний и особенно прочность этих знаний весьма ничтожны по сравнению с количеством затраченных денег и времени в условиях внешне беззаботной, спокойной жизни, – особенно по сравнению почти со всеми людьми, которых я знаю. Это прискорбно, но мне понятно. С тех пор как я помню себя, у меня было столько глубочайших забот, чтобы утвердить свое духовное «я», что все остальное было мне безразлично. Гимназисты – евреи у нас вообще со странностями, даже самыми невероятными, но я никогда не встречал такого холодного, едва прикрытого, несокрушимого, по – детски беспомощного, доходящего до нелепости, по – звериному самодовольного безразличия, как у меня – совсем уж странного ребенка, – правда, оно было единственной защитой от разрушающих нервную систему страха и сознания вины. Меня занимали лишь заботы о себе, заботы самого разнообразного свойства. Скажем, беспокойство о собственном здоровье; возникало оно легко, то и дело рождались маленькие опасения в связи с пищеварением, выпадением волос, искривлением позвоночника и так далее, они имели бесчисленные градации и в конце концов завершались настоящим заболеванием. Но так как я ни в чем не чувствовал уверенности, каждую минуту нуждался в новом подтверждении своего существования, ничто по – настоящему, бесспорно, не принадлежало мне, одному только мне, чем распорядиться мог бы только я сам – поистине сын, лишенный наследства, – то, разумеется, я стал неуверен также и в том, что было мне ближе всего, – в собственном теле; я вытягивался в длину, но не знал, что с этим поделаться, тяжесть была слишком большой, я стал сутулиться; я едва решался двигаться, тем более заниматься гимнастикой, оставался слабым; всему, чем я еще обладал, я удивлялся как чуду, например хорошему пищеварению; и этого было достаточно, чтобы потерять его, открыв тем самым дорогу всякого рода ипохондрии, пока затем сверхчеловеческое напряжение в связи с намерением жениться (об этом еще будет речь) не привело к легочному кровотечению, в чем, наверное, немалую роль сыграла квартира в Шенборнском дворце.[16] – она мне нужна была только потому, что я думал, будто она нужна для моего писания, стало быть, и это можно включить в счет. Значит, все это следствие не чрезмерной работы, как Ты всегда представляешь себе. Бывали годы, когда я, совершенно здоровый, провалялся на диване больше времени, чем Ты за всю жизнь, включая все болезни. Если я с крайне занятым видом убежал от Тебя, то чаще всего для того, чтобы прилечь в своей комнате. Вся производительность моего труда как в канцелярии (где лень, правда, не очень бросается в глаза и, кроме того, она сдерживалась моей боязливостью), так и дома была ничтожной; имея Ты об этом представление, Ты пришел бы в ужас. Вероятно, от природы я вовсе не предрасположен к лени, но мне нечего было делать. Там, где я жил, я был отвергнут, осужден, уничтожен, и хотя попытка бежать куда-нибудь мне стоила огромного напряжения, но то была не работа, ибо речь шла о невозможном, недостижимом – за малым исключением – для моих сил.

И вот в таком состоянии я получил свободу выбора профессии. Но был ли я вообще в силах воспользоваться такой свободой? Мог ли я еще ожидать от себя, что овладею настоящей профессией? Моя самооценка больше зависела от Тебя, чем от чего бы то ни было другого, например от внешнего успеха. Последний мог подбодрить меня на миг, не более. Ты же всегда перетягивал чашу весов. Никогда, казалось, мне не закончить первый класс народной школы, однако это удалось, я даже получил награду; но вступительные экзамены в гимназию мне, конечно, не выдержать, однако и это удалось; ну, уж теперь я непременно провалюсь в первом классе гимназии – однако нет, я не провалился, и дальше все удавалось и удавалось. Но это не порождало уверенности, напротив, я всегда был убежден – и недовольное выражение Твоего лица служило мне прямым подтверждением, – что чем больше мне удастся сейчас, тем хуже все кончится. Часто я мысленно видел страшное собрание учителей (гимназия лишь пример, но и все остальное, связанное со мной, было

подобно ему), видел, как они собираются – во втором ли классе, если я справлюсь с первым, в третьем ли, если я справлюсь со вторым классом, и т. д., – собираются, чтобы расследовать этот единственный в своем роде, вопиющий к небесам случай, каким образом мне, самому неспособному и, во всяком случае, самому невежественному ученику, удалось пробраться в этот класс, откуда меня теперь, когда ко мне привлечено всеобщее внимание, конечно, сразу же вышвырнут – к общему восторгу праведников, стряхнувших с себя наконец этот кошмар. Ребенку нелегко жить с подобными представлениями. Какое дело мне было при таких обстоятельствах до уроков? Кто смог бы выбить из меня хоть искру заинтересованности? Уроки – и не только уроки, но и все вокруг в этом решающем возрасте – интересовали меня примерно так же, как еще находящегося на службе и в страхе ожидающего разоблачения растратчика в банке интересуют мелкие текущие банковские дела, которые он еще должен выполнить как служащий. Столь мелким, столь далеким казалось все рядом с главным. Так все и шло до экзаменов на аттестат зрелости, их я действительно выдержал отчасти обманым путем, а потом все кончилось, я был свободен. Если даже раньше, несмотря на гнет гимназии, я был сосредоточен только на себе, то теперь, когда я освободился, и подавно. Итак, настоящей свободы в выборе профессии для меня не существовало, я знал: по сравнению с главным мне все будет столь же безразлично, как все предметы гимназического курса, речь стало быть, идет о том, чтобы найти такую профессию, которая с наибольшей легкостью позволила бы мне, не слишком ущемляя тщеславие, проявлять подобное же безразличие. Значит, самое подходящее – юриспруденция. Маленькие, противодействующие этому решению порывы тщеславия, бессмысленной надежды, как, например, двухнедельное изучение химии, полугодичное изучение немецкого языка, лишь укрепляли первоначальное убеждение. Итак, я приступил к изучению юриспруденции. Это означало, что в течение нескольких предэкзаменационных месяцев, расходуя изрядное количество нервной энергии, я духовно питался буквально древесной мукой, к тому же пережеванной до меня уже тысячами ртов. Но в известном смысле это мне и нравилось, как в известном смысле прежде нравилась гимназия, а потом профессия чиновника, ибо все это полностью соответствовало моему положению. Во всяком случае, я проявил поразительное предвидение, уже малым ребенком я достаточно отчетливо предчувствовал, какими будут потом учеба и профессия. От них я не ждал спасения, в этом смысле я уж давно махнул на все рукой.

Я совсем не предвидел, возможен ли и что будет означать для меня брак; этот самый большой кошмар всей моей жизни обрушился на меня почти совсем неожиданно. Ребенок развивался так медленно, казалось, подобные вещи никак его не касались; порой он ощущал потребность подумать о них, но то, что тут ему предстоит долгое решающее и даже жесточайшее испытание, он не предполагал. На самом же деле попытки жениться превратились в грандиознейшую и самую обнадеживающую попытку спастись, соответственно грандиозными были и неудачи.

Поскольку в этой области мне ничто не удается, я боюсь, мне не удастся и объяснить Тебе мои попытки жениться. А ведь от этого зависит успех всего письма, ибо, с одной стороны, в этих попытках сосредоточилось все то положительное, чем я располагаю, с другой – здесь с какой-то яростью так же сосредоточилось все то дурное, что я считаю побочным следствием Твоего воспитания, – слабость, отсутствие уверенности в своих силах, чувство вины, – они буквально воздвигли преграду между мною и женитьбой. Мне трудно объяснить это еще и потому, что в течение многих дней и ночей я снова и снова все продумывал и взвешивал, так что теперь я и сам сбит с толку. Но Твое полное, как я думаю, непонимание дела облегчит мне объяснение; хотя бы немножко уменьшить это полное непонимание, может быть, не так уж невероятно трудно.

Прежде всего, мои неудачные попытки жениться Ты ставишь в ряд остальных моих неудач; я не стал бы возражать против этого при условии, что Ты принимаешь мое прежнее объяснение неудач. Они действительно стоят в том же ряду, но Ты недооцениваешь их значение, и недооцениваешь настолько, что, говоря об этом друг с другом, мы, собственно, говорим о совершенно разном. Я осмелюсь утверждать, что во всей Твоей жизни не случилось ничего, что имело бы для Тебя такое же значение, какое имели для меня попытки жениться. Этим я не хочу сказать, будто Ты не пережил ничего значительного, напротив, Твоя жизнь была куда богаче, полнее заботами и трудностями, чем моя, но именно потому с Тобой и не случилось ничего подобного. Представь себе, что кому-то нужно взойти на пять низких ступеней, а другому всего на одну, но эта одна, по крайней мере для него, так же высока, как все те пять ступеней вместе; первый одолеет не только эти пять, но и еще сотни и тысячи других, он проживет большую и очень напряженную жизнь, но ни одна из ступеней, на которые он всходил, не будет иметь для него такого значения, какое для другого – та единственная, первая, высокая, для него неодолимая ступень, на которую ему не взобраться и через которую ему, конечно, и не переступить.

Жениться, создать семью, принять всех рождающихся детей, сохранить их в этом неустойчивом мире и даже повести вперед – это, по моему убеждению, самое большое благо, которое дано человеку. То, что, казалось бы, многим это удастся легко, не может служить возражением, ибо, во – первых, на самом деле удастся не многим, во – вторых – эти немногие большей частью не «добиваются», а просто это «случается» с ними; правда, оно не то «самое большое» благо, но все же нечто очень важное и очень почетное (в особенности потому, что здесь нельзя полностью отделить «добиваются» от «случается»). И в конце концов речь идет совсем не о «самом большом» благе, а лишь о некотором отдаленном, но достаточно пристойном приближении к нему; ведь не обязательно взлететь на солнце, достаточно вскарабкаться на чистое местечко на земле, куда временами заглядывает солнце и где можно немножко погреться.

Как же я был подготовлен к этому? Хуже некуда. Это ясно уже из предыдущего. Если и существует возможность непосредственно подготовить отдельную личность и непосредственно создать общие предпосылки, то внешне Ты в это не очень много вмешивался. Иначе и быть не могло, здесь все решают общепринятые обычаи сословия, народа, времени. Тем не менее Ты и тут вмешивался, не много, правда, ибо условием такого вмешательства может служить лишь полное взаимное доверие, а оно у нас отсутствовало уже задолго до решающего момента, и вмешивался Ты не очень удачно, ибо наши потребности были совсем разными: то, что волнует меня, Тебя едва трогает, и наоборот: то, что Ты считаешь невинностью, мне может показаться виной, и наоборот: то, что для Тебя не имеет последствий, меня может уложить в гроб.

Я помню, как однажды вечером, гуляя вместе с Тобой и матерью на Йозефплац, поблизости от нынешнего земельного банка, я начал глупо, хвастливо, высокомерно, гордо, хладнокровно (это было неискренно), холодно (это было искренно) и запинаясь, как почти всегда при разговоре с Тобой, говорить об «интересных вещах», упрекая вас в том, что вы меня не просветили, что об этом пришлось позаботиться школьным товарищам, что мне угрожали большие опасности (тут я по своему обыкновению бесстыдно лгал, дабы показаться храбрым, ибо вследствие своей робости не имел ясного представления о «больших опасностях»), но в заключение дал понять, что теперь я, к счастью, все знаю, не нуждаюсь больше в совете и все уже в порядке. Я начал тот разговор главным образом

потому, что мне доставляло удовольствие хотя бы поговорить об этом, потом и из любопытства и, в конце концов, еще и для того, чтобы как-то за что-то отомстить вам. Ты в соответствии со своей натурой отнесся к этому очень просто, сказал лишь, что можешь посоветовать, как, не подвергаясь опасности, заниматься этими делами. Возможно, я хотел вытянуть из Тебя именно такой ответ, именно его и жаждала похоть ребенка, перекормленного мясом и всякими вкусными вещами, физически бездеятельного, вечно занятого самим собой, но моя внешняя стыдливость была настолько задета – или я считал, что она должна быть задета, – что вопреки собственной воле я не мог больше говорить с Тобой об этом и с дерзким высокомерием оборвал разговор.

Твой тогдашний ответ оценить нелегко: с одной стороны, в нем есть что-то убийственно откровенное, в какой-то степени первозданное, с другой же стороны – в том, что касается самой сути урока, – он очень по – современному беззаботен. Не помню, сколько лет мне было тогда, во всяком случае не многим более шестнадцати. Для такого юноши это был очень странный ответ, и дистанция между нами проявилась и в том, что, в сущности, это был первый прямой жизненный урок, полученный мною от Тебя. Однако истинный смысл его, который тогда еще не полностью был для меня понятен и по – настоящему дошел до сознания лишь много позже, заключался в следующем: то, что Ты посоветовал мне, было ведь, по Твоему и тем более по моему тогдашнему мнению, самым грязным, что только могло быть. Твоя забота о том, чтобы я не принес домой физической грязи, была чем-то второстепенным. Ты охранял лишь себя, свой дом. Главное же – Ты сам оставался вне своего совета, супругом, чистым человеком, стоящим выше таких вещей; тогда все это, вероятно, еще больше усилилось для меня тем, что и брак казался мне бесстыдством, и потому я не мог перенести на родителей то, что вообще слышал о браке. Тем самым Ты становился еще чище, еще возвышеннее. Мысль, что до женитьбы Ты мог прислушаться к подобному совету, казалась мне совершенно недопустимой. Таким образом, на Тебе не было почти ни малейшего следа земной грязи. И именно Ты несколькими откровенными словами столкнул меня в грязь, словно таков мой удел. Если бы мир состоял только из Тебя и меня – а такое представление мне было очень близко, – тогда чистота мира закончилась бы на Тебе, а с меня, по Твоему совету, началась бы грязь. Само по себе непонятно, почему Ты обрек меня на такое, лишь давняя вина и глубочайшее презрение с Твоей стороны могли служить объяснением. Тем самым я опять был задет до глубины своего существа, и задет очень жестоко.

Здесь, возможно, отчетливее всего проявилась и наша взаимная невиновность. А дает Б откровенный, соответствующий его взглядам, не очень красивый, но в городе теперь вполне принятый, может быть, предотвращающий заболевания совет. Совет этот в моральном смысле для Б не очень благотворен, но с течением времени он ведь сумеет избавиться от причиненного вреда, к тому же он не обязан воспользоваться советом, да и в самом совете нет ничего такого, из-за чего все его будущее рухнуло бы. И все-таки нечто подобное происходит, но происходит именно потому, что А – это Ты, а Б – это я.

Это обоюдная невиновность мне особенно ясна еще и потому, что подобное столкновение снова произошло между нами при совершенно других обстоятельствах лет двадцать спустя, – столкновение ужасное, но само по себе более безвредное, ибо что уж мне, тридцатилетнему, могло еще причинить вред. Я имею в виду небольшое объяснение, произошедшее между нами в один из беспокойных дней после заявления о моем последнем намерении жениться. Ты сказал мне примерно так: «Она, наверное, надела какую-нибудь модную кофточку, как это умеют пражские еврейки, и ты, конечно, сразу же решил на ней жениться. И жениться как можно скорее, через неделю, завтра, сегодня. Я тебя не понимаю, ты же взрослый человек, ты живешь в городе и не знаешь другого выхода, кроме как немедленно жениться на первой встречной. Разве нет других возможностей? Если ты боишься, я сам пойду туда с тобою». Ты говорил обстоятельнее и яснее, но подробностей я не помню, кажется, у меня поплыл туман перед глазами, меня даже больше занимало то, как повела себя мать, которая, хотя и полностью была согласна с Тобой, взяла все же что-то со стола и вышла из комнаты.

Вряд ли Ты когда-нибудь глубже унижал меня словами, и никогда столь отчетливо Ты не показывал мне своего презрения. Когда Ты двадцать лет тому назад говорил со мною подобным образом, в этом можно было, став на Твою точку зрения, усмотреть даже некоторое уважение к рано созревшему городскому юнцу, которого, по Твоему мнению, уже можно без всяких околочностей прямо ввести в жизнь. Сегодня подобное отношение лишь увеличивает презрение, ибо юноша, который тогда брал разбег, на том и застрял, и он кажется Тебе теперь не более обогащенным опытом, а лишь на двадцать лет более жалким. Мое решение, связанное с определенной девушкой, для Тебя ничего не значит. Мою решительность Ты всегда (бессознательно) низко ставил и теперь (бессознательно) считаешь, будто знаешь, чего она стоит. Ты ничего не знал о попытках спастись, которые я предпринимал в других направлениях, поэтому не можешь ничего знать о ходе мыслей, приведшем меня к этой попытке жениться, Тебе приходится разгадывать его, и Ты разгадываешь – соответственно своему общему мнению обо мне – на самый отвратительный, самый грубый, самый нелепый лад. И без малейших колебаний таким же манером высказываешь мне это. Позор, который Ты тем самым навлекаешь на меня, для Тебя ничто в сравнении с позором, который я, по Твоему мнению, навлеку на Твое имя своей женитьбой.

По поводу моих намерений жениться Тебе есть что возразить мне, что Ты и сделал: Ты – де не можешь питать теперь большое уважение к моему решению, поскольку я дважды расторг помолвку с Ф. и дважды снова заключал ее, понапрасну тасил Тебя и мать в Берлин на помолвку и тому подобное. Все это правда. Но как дошло до этого?

Основной замысел обеих попыток жениться был совершенно правильным: создать домашний очаг, стать самостоятельным. Замысел, симпатичный и Тебе, но в действительности он уподобился детской игре, когда один держит руку другого и даже крепко сжимает ее, а сам кричит: «Уходи, да уходи же, почему не уходишь?» В нашем случае это усложнялось тем, что Ты с давних пор честно говорил свое «уйди же», что с тех же давних пор, сам того не ведая, Ты удерживал, вернее, подавлял меня уже самой своей натурой. Обе девушки были выбраны – правда, случайно – исключительно удачно. Еще одно свидетельство Твоего полного непонимания: как можешь Ты думать, что я – робкий, нерешительный, мнительный – мигом решусь на женитьбу, очарованный, скажем, кофточкой. Каждый из браков был бы, скорее, браком по расчету, если понимать под этим, что все мои мысли днем и ночью – в первый раз несколько лет, во второй несколько месяцев – были заняты этими планами.

Ни одна из девушек не разочаровала меня – разочаровал обеих только я. Сейчас я отношусь к ним так же, как и тогда, когда хотел жениться на них.

И при второй попытке жениться я не пренебрег опытом первой, не был легкомысленным, как может показаться. Оба случая совершенно разные; во втором случае, который вообще сулил гораздо больше, именно прежний опыт мог меня обнадежить. Говорить о подробностях я сейчас не хочу.

Так почему же я все-таки не женился? Конечно, я встретился с некоторыми препятствиями, как и во всем, но ведь жизнь и состоит из преодоления таких препятствий. Однако главное препятствие, к сожалению не зависящее от частного случая, заключается в моей очевидной духовной неспособности к женитьбе. Это выражается в том, что с момента, когда я решаю жениться, я перестаю спать, голова пылает днем и ночью, жизнь становится невыносимой, я мечусь в отчаянии из стороны в сторону. Вызвано это, в сущности, не заботами, хотя мои нерешительность и педантизм соответственно порождают бесчисленные заботы, но не в них главное, они лишь, как черви на трупе, довершают дело, – убивает меня другое. А именно: гнет постоянного страха, слабости, презрения к самому себе.

Хочу попробовать объяснить подробнее: когда я предпринимаю попытку жениться, две противоположности в моем отношении к Тебе проявляются столь сильно, как никогда прежде. Женитьба, несомненно, залог решительного самоосвобождения и независимости. У меня появилась бы семья, то есть, по моему представлению, самое большое, чего только можно достигнуть, значит, и самое большое из того, чего достиг Ты, я стал бы Тебе равен, весь мой прежний и вечно новый позор, вся Твоя тирания просто бы ушли в прошлое. Это было бы сказочно, но потому-то и сомнительно. Слишком уж это много – так много достигнуть нельзя. Вообразим, что человек упал в тюрьму и решил бежать, что само по себе, вероятно, осуществимо, но он намеревается одновременно перестроить тюрьму в увеселительный замок. Однако, сбежав, он не сможет перестраивать, а перестраивая, не сможет бежать. Если при существующих между нами злосчастных отношениях я хочу стать самостоятельным, то должен сделать что-то, по возможности не имеющее никакой связи с Тобой; женитьба, хотя и есть самое важное в этом смысле и дает почетнейшую самостоятельность, вместе с тем неразрывно связана с Тобой. Поэтому желание найти здесь выход смахивает на безумие, и всякая попытка почти безумием же и наказывается.

Но отчасти именно этой тесной связью и привлекает меня женитьба. Равенство, которое после того установилось бы между нами и которое пришлось бы Тебе по душе как никакое иное, мне представляется именно потому столь прекрасным, что я смог бы тогда стать свободным, благодарным, избавленным от чувства вины прямым сыном, а Ты – ничем не омрачаемым, недеспотичным, полным сочувствия, довольным отцом. Но чтобы достигнуть этой цели, надо сделать все случившееся неслучившимся, то есть вычеркнуть нас обоих.

Но раз мы такие, какие есть, женитьба не для меня как раз потому, что эта область целиком принадлежит Тебе. Иногда я представляю себе разостланную карту мира и Тебя, распростертого поперек нее. И тогда мне кажется, будто для меня речь может идти только о тех областях, которые либо не лежат под Тобой, либо находятся за пределами Твоей досягаемости. А их – в соответствии с моим представлением о Твоем размере – совсем немного, и области эти не очень отрадны, и брак отнюдь не принадлежит к их числу.

Уже само это сравнение показывает, что я вовсе не хочу сказать, будто Ты своим примером как бы изгнал меня из области брака, словно из магазина. Напротив, несмотря на все отдаленное сходство, ваш брак в моих глазах – брак во многом образцовый, образцовый тем, как вы верны и помогаете друг другу, и тем, сколько у вас детей, и даже тогда, когда дети выросли и все больше нарушали мир в семье, ваш союз по –прежнему нерушим. Именно на этом примере, возможно, и сложилось мое – высокое представление о браке; то, что мое стремление к браку ни к чему не привело, объясняется другими причинами. Они заключаются в Твоем отношении к детям, которому посвящено все письмо.

Существует мнение, будто страх перед браком иной раз проистекает от боязни, как бы дети потом не отплатили нам за то, в чем мы сами согрешили перед собственными родителями. Я думаю, в моем случае это не имеет уж очень большого значения, ибо мое чувство вины, собственно говоря, порождено Тобой и к тому же слишком проникнуто сознанием некой исключительности, более того, это сознание исключительности – неотъемлемая часть его мучительной сущности, повторение немислимо. И все же я должен сказать, что для меня был бы невыносим такой безмолвный, глухой, черствый, слабосильный сын, я, пожалуй, бежал бы от него, не будь иного выхода, уехал бы, как Ты хотел это сделать лишь в связи с моей женитьбой. И это тоже, возможно, повлияло на мою неспособность создать семью.

Но гораздо важнее при этом страх за себя самого. Это следует понимать так: я уже упоминал, что сочинительство и все с ним связанное – суть мои маленькие попытки стать самостоятельным, попытки бегства; они предпринимались с ничтожнейшим успехом и вряд ли приведут к большому, многое это подтверждает. Тем не менее мой долг или, вернее, весь смысл моей жизни состоит в том, чтобы охранять их, сделать все, что только в моих силах, чтобы предотвратить всякую угрожающую им опасность, даже возможность такой опасности. Брак таит в себе возможность такой опасности, правда, он же может стать и величайшим вдохновителем, но для меня достаточно того, что он таит такую опасность. Что я стану делать, если он действительно окажется опасностью! Как я смогу жить в браке с ощущением этой опасности, ощущением, может быть, и необъяснимым, но тем не менее неопровержимым! Перед такой перспективой я, правда, могу колебаться, но конечный исход predetermined, я должен отказаться. Поговорка о журавле в небе и синице в руках очень мало подходит здесь. В руках у меня пусто, в небе же все, и тем не менее я должен выбрать эту пустоту – так решают условия борьбы и бремя жизни. Подобным образом я вынужден был выбирать и профессию.

Но самое главное препятствие к женитьбе состоит в неистребимом убеждении, что для сохранения семьи, а тем более для руководства ею необходимо все, чему я научился у Тебя, а именно все вместе, хорошее и плохое, органически соединенное в Тебе, то есть сила и презрение к другим, здоровье и известная неумеренность, дар речи и заторможенность, уверенность в себе и недовольство всеми остальными, чувство превосходства и деспотизм, знание людей и недоверие к большинству из них, затем достоинства без всяких недостатков, как, например, усердие, терпение, присутствие духа, бесстрашие. По сравнению с Тобой я почти лишен всего этого или обладаю им лишь в малой степени. Хотел ли я тем не менее отважиться на брак? Я ведь видел, что даже Тебе в браке приходится вести тяжкую борьбу, а в отношении детей – даже терпеть поражения. Этот вопрос я, разумеется, не задаю себе четко и не отвечаю на него четко, иначе потянулись бы обычные мысли и напомнили бы мне о других мужчинах, иного, нежели Ты, склада (незачем далеко ходить – укажу на очень отличающегося от Тебя дядю Рихарда) и, тем не менее, женившихся и, во всяком случае, не погибших, что само по себе уже немало, а для меня было бы совершенно достаточным. Я не ставлю этот вопрос, я живу с ним с самого детства. Я ведь проверял себя не только в отношении брака, но и в отношении любой мелочи; в отношении любой мелочи Ты Твоим примером и Твоей системой воспитания, как я пытался описать, убеждал меня в моей неспособности, и то, что оказывалось правильным и подтверждало Твою правоту в отношении любой мелочи, должно было, разумеется, быть правильным и в отношении самого большого, то есть брака. До того времени, как я предпринял попытку женитьбы, я рос примерно как коммерсант, который живет изо дня в день, правда, с заботами и дурными предчувствиями, но без точного бухгалтерского учета. Иной раз ему удается получить небольшие прибыли, с которыми (поскольку случаи эти редкие) он мысленно все время носится и которые преувеличивает, в остальном же у него ежедневные убытки.

Все заносится в книги, однако баланс никогда не подводится. Но вот наступает необходимость подведения итога, то есть попытка женитьбы. При больших суммах, с которыми здесь приходится считаться, получается так, будто и малейшей прибыли никогда не было – все сплошная огромная задолженность. Попробуй тут женись, не сойдя с ума!

Так заканчивается моя прежняя жизнь с Тобой, и такие перспективы на будущее она несет.

Окинув взглядом обоснования моего страха перед Тобой, Ты можешь ответить: «Ты утверждаешь, что я облегчаю себе жизнь, объясняя свое отношение к тебе просто твоей виной, я же считаю, что ты, несмотря на все свои усилия, не только снимаешь с себя тяжесть, но и хочешь представить все в более выгодном для тебя свете. Сперва ты тоже отрицаешь всякую свою вину и ответственность – в этом смысле наше поведение одинаково. Но если я откровенно приписываю всю вину одному тебе, ты хочешь быть „сверхрассудительным“ и „сверхчутким“ одновременно и тоже снимаешь с меня всякую вину. Разумеется, последнее удастся тебе лишь по видимости (а большего ты и не хочешь), и между строк, несмотря на „красивые слова“ о сущности, и характере, и антагонизме, и беспомощности, проступает обвинение, будто нападающей стороной был я, в то время как все, что ты делал, было лишь самозащитой. Так ты самой своей неискренностью мог бы уже достаточно достичь, ибо ты доказал три вещи: во – первых, что ты не виноват, во – вторых, что виноват я, в – третьих, что ты из чистого великодушия не только готов простить меня, но и – а это и больше, и меньше – доказать, даже и сам поверить, будто я, вопреки истине, тоже не виноват. Этого могло бы быть достаточно, но тебе и этого недостаточно. Дело в том, что ты вбил себе в голову желание жить только за мой счет. Я признаю, что мы с тобой воюем, но война бывает двух родов. Бывает война рыцарская, когда силами меряются два равных противника, каждый действует сам по себе, проигрывает за себя, выигрывает для себя. И есть война паразита, который не только жалит, но тут же и высасывает кровь для сохранения собственной жизни. Таков настоящий профессиональный солдат, таков и ты. Ты нежизнеспособен; но чтобы жить удобно, без забот и упреков самому себе, ты доказываешь, что всю твою жизнеспособность отнял у тебя и упрятал в свой карман я. Теперь тебя не касается, что ты нежизнеспособен, – ведь ответственность за это несущая, а ты спокойно ложишься и предоставляешь мне тащить тебя – физически и духовно – через жизнь. Пример: когда ты недавно захотел жениться, ты в то же время хотел, как признаешься в этом письме, и не жениться, но при этом не хотел сам затрачивать усилия, а хотел, чтобы я помог тебе не жениться, запретив женитьбу из-за „позора“, который навлечет на меня этот союз. Но я и не подумал сделать это. Во – первых, я не хотел в этом случае, как и всегда, „быть помехой твоему счастью“, во – вторых, я не хочу услышать когда-нибудь подобного рода упрек от своего ребенка. Но разве мне помогло то, что я, преодолев самого себя, предоставил тебе свободу решения относительно брака? Ни в малейшей мере. Ты не отказался бы от женитьбы из-за моего отрицательного отношения к ней, напротив, оно бы лишь подстегнуло тебя жениться на этой девушке, ибо таким путем „попытка бегства“, говоря твоими словами, получила бы наиболее полное выражение. А мое разрешение на женитьбу не сняло бы упреков, ведь ты все равно доказываешь, что я в любом случае виноват в том, что ты не женился. Но, в сущности, ты в данном случае, да и во всем остальном доказал мне только то, что все мои упреки были справедливыми и что среди них отсутствовал еще один, особенно справедливый упрек, а именно упрек в неискренности, в угодливости, в паразитизме. Если я не ошибаюсь, ты паразитируешь на мне и самим этим письмом».

На это я отвечаю, что, прежде всего, это возражение, которое отчасти можно повернуть и против Тебя, исходит не от Тебя, а именно от меня. Ведь даже Твое недоверие к другим меньше, чем мое недоверие к самому себе, а его во мне воспитал Ты. Я не отрицаю известной справедливости возражения, которое само по себе вносит нечто новое в характеристику наших взаимоотношений. Разумеется, в действительности все не может так последовательно вытекать одно из другого, как доказательства в моем письме, жизнь сложнее пасьянса; но с теми поправками, которые вытекают из этого возражения – поправками, которые я не могу и не хочу вносить каждую в отдельности, – в этом письме все же, по моему мнению, достигнуто нечто столь близкое к истине, что оно в состоянии немного успокоить нас обоих и облегчить нам жизнь и смерть.

Франц

Примечания

1 Речь идет о помолвке Кафки с Юлией Вохрыцек, против которой отец Кафки решительно возражал.

2 Роберт Кафка – двоюродный брат писателя. Карл Германн – муж Эллы, сестры Кафки.

3 Леви – девичья фамилия матери Кафки.

4 Дядя Филипп, Людвиг, Генрих – братья отца Кафки.

5 Валли (Валерия) – сестра Кафки.

6 Феликс Германн – племянник Кафки (сын его сестры Эллы).

7 Пепа – муж Валли, сестры Кафки.

8 Сумасшедший (нем.)

9 Поговорку эту Кафка приводит в «Дневниках»: «Ляжешь спать с собаками, встанешь с блохами».

10 Речь идет о селении вблизи небольшого богемского городка Цюрау, где Оттла взяла на себя управление маленьким имением. В 1917 и 1918 годах Кафка жил там у сестры.

11 Герти – племянница Кафки, дочь Эллы.

12 Ирма – двоюродная сестра Кафки.

13 Несколько перифразированные заключительные слова романа «Процесс».

14 Имеются в виду свитки Торы.

15 В домашней библиотеке Кафки был найден чешский перевод автобиографии американского политического деятеля и ученого Бенджамина Франклина (1706 – 1790).

16 Здесь в 1917 году, готовясь к браку с Фелицией Бауэр, Кафка снял квартиру.